
**ИЗ ИСТОРИИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ**

**К РЕЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСТВА БУНИНА В ЭМИГРАЦИИ:
Д.П. СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ**

© 2011 г. М. В. Ефимов

В статье рассматриваются оценки творчества Бунина, принадлежащие Д.П. Святополк-Мирскому (литературный псевдоним “Мирский”, 1890–1939), выдающемуся историку литературы и литературному критику; представлен свод высказываний Мирского о Бунине и показан их историко-литературный контекст. Яркие и нетрадиционные оценки Мирского вызвали активную полемику в среде русской литературной эмиграции.

The paper is focussed on critical writings of a brilliant historian of Russian literature, D. S. Mirsky (Prince Dmitry Petrovich Svyatopolk-Mirsky, 1890–1939), concerning Ivan Bunin’s oeuvre. Mirsky was one of the most provocative literary critics in Russian emigration milieu in the 1920s. Mirsky’s opinions of Bunin are considered in a broad context of fierce literary polemics in Russian emigration periodicals.

Ключевые слова: Версты, русская литературная эмиграция, Сувчинский, Джеральд Смит, литературная полемика.

Rey words: Milestones (Vyorst), Russian literary emigration, Suvchinskii, Gerald Smith, Literary polemic.

Существует известный рассказ о том, как Мирский на литературном вечере в Париже (1928) заявил, что «променяет всю “Жизнь Арсеньева” Бунина за несколько строк из романа Фадеева “Разгром”, и на вопрос: “Что же, Бунину следует учиться у Фадеева?” – ответил: “Да, учиться правде”» [1].

Внешняя эпатажность и нарочитость этого заявления не должны, однако, заслонять собой важное обстоятельство: к Бунину критик обращался в своих работах неоднократно, причем эти обращения носили отнюдь не периферийный характер, а затрагивали наиболее существенные для него вопросы эстетического и мировоззренческого порядка.

Мирский не был типичным литературным критиком-поденщиком, каких русская эмиграция знала немало. Личность исключительно сложная, он до сих пор представляет собой загадку для историков русской культуры. Его почти каноническому статусу среди западных славистов упорно противостоит в России представление о нем как о человеке с сомнительной биографией и эксцентричными взглядами и оценками, человеком, ставшим “жертвой собственного духовного озорства” (по упрощающему слову Г. Струве [2, с. 64], к сожалению – прижившемуся).

Поразительная эрудиция и блестящий литературный стиль делают Мирского не только “пишу-

щим о литературе”, но и полноправной частью самой литературы. Парадоксальность его оценок, так возмущавшая многих современников, оказалась исключительно плодотворной для последующих исследователей русской литературы – в России и за рубежом.

На протяжении десятилетия своей европейской биографии (1922–1932) Мирский регулярно писал о Бунине, в разных контекстах и по разным поводам. Если в 1920–1930-е гг. Бунина справедливо считали крупнейшим писателем в Русском Зарубежье, то едва ли будет преувеличением сказать, что в это же время русская эмиграция воспринимала Мирского как самого скандального литературного критика. Если М.И. Цветаева замечала, что Мирский – “единствен[ый] в эмиграции критик, ненавидим[ый] эмиграцией, англичане [его] любят и чтят” [3, с. 222], то Георгий Иванов называл Мирского “одиозным критиком” [4, с. 513]. Уже сама эта позиция заставляет пристально всмотреться в оценки Мирского.

Как отметила О. Казнина, в своей англоязычной “Истории русской литературы” и “в последующих работах этого типа, основное стремление Д. Мирского <...> – установить “канон” русской литературы, причем не только классической, но и современной, включая ее советскую и эмигрантскую ветвь” [5, с. 224]; при этом, “[в] отличие от трудов по русской литературе, ставших за рубежом

классическими, журнальные публикации Д. Мирского носят полемический, часто намеренно эпатажирующий характер» [5, с. 219]. Несмотря на то, что этот канон, казалось бы, был утвержден Мирским в его английских историях русской литературы 1925–1926 гг., есть основания рассматривать всю литературно-критическую деятельность Мирского в 1922–1932 гг. как стремление установить канон и на материале современной русской литературы. Мирский был человеком сильных увлечений и категорических высказываний. Эволюция его взглядов часто производила на окружающих впечатление неоправданных срывов и капризов.

Попробуем проследить, придерживаясь хронологической последовательности, смену оценок Д.П. Святополк-Мирским творчества И.А. Бунина, чтобы раскрыть особенности Мирского-критика и Мирского – историка литературы.

Взгляд Мирского на Бунина – острый, временами беспощадный и провоцирующий резкие реакции – не только характерная деталь литературного быта русской эмиграции 1920-х гг., но и выражение принципиальных позиций Мирского как мыслителя, до сих пор во многом не понятого и не оцененного.

Мирского как литературного критика, знаменитого своими категорическими и часто шокирующими высказываниями, можно противопоставить другому знаменитому критику русского зарубежья – Г. Адамовичу, критическая манера которого удачно охарактеризована, например, в письме Ю. Терапиано к В. Маркову от 7 ноября 1955 г.: “Вы лучше можете воспринять его разговоры об эмигрантских писателях, чем мы, 30 лет слышавшие их и давно уже привыкшие к блестящей, извилистой, неопределенной, без твердых очертаний, импрессионалистической критике Адамовича. Все очень хорошо, все – спорно, все нужно читать между строк” [6, с. 281].

Оценка Мирским бунинского творчества может остаться лишь примером ситуативной намеренно-субъективной критики, если не принимать во внимание тезис, который Мирский неоднократно излагал и варьировал в своих работах 1920-х гг. При этом, как замечает крупнейший специалист по творчеству и биографии Мирского Дж. Смит, “Мирский никогда не повторяется, даже когда многократно пишет о некоторых главных авторах и темах” [7, р. 81]¹. В наиболее концентрированном виде интересующий нас тезис представлен в

статье “О нынешнем состоянии русской литературы” (“Благонамеренный”. 1926. № 1). По Мирскому, в русской литературе начала XX в. царило «некоторое общее отрицание жизни, которое могло принимать форму “неприятия быта” при страстном (квази-) религиозном пристрастии к жизни стихийной, или духовной (символисты <—> оптимисты от Бальмонта до Евреинова); или разочарования в общественности и отвращения к существующим формам при неверии или маловерии в лучшие; или простого нерассуждающего отвращения к уродствам жизни; или метафизического “неприятия мира”, и богоборчества. Но в одном все сходятся: в чувстве глубокого отвращения от всякой *данной*, эмпирической жизни, или полного равнодушия ко всем “акциденциям” жизни. Вся Русская литература от Чехова и Анненского до Блока и Белого и дальше от Ходасевича и <...> Эренбурга. “Моя жизнь”, “Кипарисовый ларец”, “Мелкий бес”, “Детство”, “Суходол”, “В тумане”, “Движения”, “Пруд”, “Балаганчик”, “Петербург” – все объединены ненавистью к жизни, или страхом перед ее бессмысленностью, и если у символистов-оптимистов воспевалась Жизнь, она ничего общего не имела с той жизнью, которой мы все живем. Исключения очень редки, и единственные два значительные относятся к самому началу и самому концу этого времени: ранние рассказы Горького, и поэзия Гумилева» [8, р. 227–228]². В письме к П.П. Сувчинскому от 8 августа 1926 г. Мирский писал: “Это поколение, рожденное в годы злотворчества Достоевского (Записки из подполья 1864) не принесет чистого плода” [9, р. 57]³.

Представляется, что этот тезис и его производные оказал решающее воздействие на оценки Мирским сочинений Бунина и его места в истории русской литературы, которые и являются предметом настоящей работы.

Если судить по опубликованным М. Грин дневникам Буниных, Мирский и Бунин были знакомы, по крайней мере, с начала 1920-х гг., однако эти данные представляются нам ошибочными. Дневниковую запись от 1 января / 19 декабря 1921 г.: “Днем у нас долго сидел Мирский”, – М. Грин комментирует следующим образом: “Вероятно, Д.П. Святополк-Мирский, литературовед” [10, с. 20, 301] (ср. также запись 1/14 января 1921 г.: “Днем был Мирский” [10, с. 22]). К Святополк-

¹ Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, переводы с английского – автора статьи.

² Здесь и далее в цитатах из Мирского написание названий художественных произведений приведено к современным нормам. Авторская орфография и пунктуация сохранена, за исключением особо оговоренных случаев.

³ Здесь и далее в цитатах из писем Мирского подчеркивания принадлежат автору письма.

Мирскому М. Грин также относит следующую запись от 28 февраля / 13 марта 1921 г.: “Позавчера вечером у меня было собрание-заседание Правления Союза Рус[ских] Журналистов, слушали обвинение Бурцева против Кагана-Семенова <...> Бурцев заявил, что он, Каган, был агентом Рачковского. Были А. Яблоновский, Мирский, С. Поляков, Гольдштейн, Толстой, Каган и Бурцев” [10, с. 30] (купюра в цитате сделана публикатором). Из контекста, однако, можно заключить, что речь в дневнике Бунина идет не о Д.П. Святополк-Мирском, а о Борисе Сергеевиче Миркине-Гецевиче (1892–1955), в январе 1920 г. приехавшем в Париж и печатавшемся под псевдонимом “Борис Мирский”. Тот же самый Мирский – Миркин-Гецевич, а не Д.П. Святополк-Мирский – фигурирует и в опубликованных М. Грин письмах М.А. Алданова к Бунину, например, в письме от 2 января 1931 г. по поводу выдвижения кандидатуры Бунина на Нобелевскую премию: “Повидал Б. Мирского, – он обещал сделать всё от него зависящее <...> Кроме того Мирский обещал сделать другое: он хорошо знаком с дочерью Бьернсона, к[отора]я будто бы имеет огромное влияние в Скандии[навских] литер[атурных] кругах” [11]. Резонно предположить, что и в записях 1921 г., и в письме 1931 г. речь идет об одном и том же человеке – Б. Мирском.

Известно, что у Мирского и Бунина была общая близкая знакомая – А.В. Тыркова-Вильямс, но в опубликованных письмах Бунина к Тырковой-Вильямс 1920–1925 гг. [12] имя Мирского не встречается ни разу. В переписке Бунин неоднократно (и негативно) упоминает владельца издательства “Хогарт Пресс” (“Hogarth Press”) Леонарда Вулфа, с которым Мирский поддерживал приятельские и рабочие отношения. В начале февраля 1925 г. Бунин приезжал в Лондон. Как раз в феврале 1925 г. в Лондоне Мирский спешно заканчивал рукопись своей книги “Новая русская литература” (“Modern Russian Literature”) [9, р. 54], где писал и о Бунине, так что вероятность встречи Мирского с Буниным в Лондоне в этот период весьма мала. Вместе с тем, “[в] заметках и архиве Бунина, который <...> скрупулезно собирал отзывы о своем творчестве, нигде не упоминаются мнения Д.П. Святополк-Мирского, тогда как этот критик существенным образом повлиял на представление англичан о творчестве писателя” [13, с. 341].

Бунин появляется уже в первых опубликованных Мирским по-английски литературно-критических статьях, для которых характерен и взвешенно-исторический подход (в силу ориентированности этих обзорных текстов на английского читателя)

и, вместе с тем, специфические акценты, которые со временем усилятся. Так, в 1920 г. (Five Russian Letters. I. Introductory // The London Mercury. 1920. December. Vol. III. № 14. P. 207–209) Мирский отмечает: “...поразительно, что русская проза была столь странно посредственной после смерти Чехова (и некоторое время до нее). Андреев, Бунин, Толстой-младший – это люди подлинного таланта и оригинальности, но было бы нелепо сравнивать их даже с Тургеневым. Теперь пальма первенства перешла к поэтам...” (пер. с англ.) [14, с. 25].

Два года спустя, в 1922 г. (Five Russian Letters. IV. The Literature of Bolshevik Russia // The London Mercury. 1922. January. Vol. V. № 27. P. 276–285), акценты в трактовках Мирского начинают смещаться: “Художественная проза, которая всегда была гордостью русской литературы, оказалась сравнительно незначительной. Из нескольких выдающихся романистов только Горький и Сологуб немного занимались беллетристикой, но то, что они дали сейчас – явно плохо. Андреев умер. Остается Бунин, величайший из ныне живущих и пишущих новеллистов. Каждое его новое произведение является достижением, превосходящим предыдущее. Но хотя он ввязался в политическую полемику и сочиняет гневные статьи, его художественное творчество всегда *au dessus de la mêlée* [выше повседневной суеты (фр.)]. Его гений вне времени, его отношение к жизни – как у брамина или парнасца” (пер. с англ.) [14, с. 51–52].

В опубликованной в январе 1922 г. статье о литературе русской эмиграции (Five Russian Letters. V. The Literature of the Emigration // The London Mercury. 1922. January. Vol. VI. № 32. P. 193–195) Мирский весьма выразительно характеризует творчество Бунина: «Сказать, что Бунин – это, вероятно, лучший из живущих русских прозаиков, значит сказать не слишком много. Его сочинения – в основном, перепечатки, выходят в Париже, а его шедевр, “Господин из Сан-Франциско”, только что переведен на французский и рекламируется как шедевр величайшего из живых русских писателей. Бунин, вероятно, не придется по вкусу французскому читателю как раз по причине его “латинских” черт, поскольку француз ожидает от варваров с Востока варварских пышных зрелищ в духе Дягилева, и оставляет за собой монополию на трезвое и сдержанное искусство. В Бунине слишком много того, что было во Флобере, – тот же лежащий в основе романтизм, та же безрелигиозная безупречность выражения, та же извращенная любовь к тошнотворным ужасам жизни. Бунина уважают, но мало читают. Читателя в большей степени привлекают менее совершенные и слож-

ные сочинения Куприна и Алексея Толстого» (*пер. с англ.*) [8, р. 82].

Образ “парнасца-Бунина” вновь возникает в одном из важнейших русскоязычных текстов Мирского – законченной в июне 1922 г. большой статье “О современном состоянии русской поэзии”. Справедливо названная О.А. Казниной “маленькой энциклопедией русской поэзии” [5, с. 225], эта статья была опубликована только в 1978 г. «Вся проза нашего времени (кроме вещей совсем непритязательных и явно эпигонских) – проза поэтического происхождения, – уверяет Мирский. – Такова явным образом проза Белого и Ремизова, но такова ведь и проза Бунина <...> Не только старая Толстовская традиция вымерла, но и Чеховская погибла бесславно <...> Трое из старших: Бальмонт, Бунин, Гиппиус принадлежат к именам, дорогим каждому другу русской поэзии. Но все они (по разным причинам) не нужны или не очень нужны нам. И все они в своем отношении к революции и России остались на уровне эмигрантской газетной публицистики. Бунину это, пожалуй, к лицу – в позу (благородную, если хотите) презрительного, со сжатыми губами страдающего Парнасца должно входить это презрение к толпе, хотя бы она и называлась русским народом. И Бунин наименее ненужный из этих трех. Но наименее ли отживший? Не сказал ли он своего последнего слова в делающем ныне мировую карьеру “Господине из Сан-Франциско”? Стихи его во всяком случае менее значительны, чем эта трагическая арлекинада» [14, с. 61, 64].

Отметим здесь не только утверждение о смерти “толстовской традиции” русской прозы, но и тезис о “поэтическом происхождении” прозы Бунина – при низкой оценке собственно-поэтического творчества Бунина.

Оставшийся неизвестным современникам текст Мирского 1922 г., однако, дал своеобразные и более чем заметные плоды в опубликованных работах критика. Поэзия Бунина стала своеобразным “минус-приемом” и в книге 1924 г. “Русская лирика. Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака”. Мирский не счел возможным включить в свою антологию стихи Бунина, отметив – в примечании! – что, «[и]з поэтов 90-х годов, не примкнувших к символизму, – Лохвицкая, конечно, не стоит внимания; что же касается Бунина, то его стихи можно рассматривать только как “стилистические упражнения” очень большого прозаика» [15, с. XI].

По словам Дж. Смита, “отсутствие поэтов модернистского периода, для которых Мирский не нашел места в своей антологии, кажется созна-

тельным провоцированием эмиграции, поскольку Мирский хоть и включил по одному стихотворению Бальмонта и Гиппиус, он не включил Бунина и Ходасевича” [7, р. 131]. Это обстоятельство было не только замечено, но и выражено в печати – в частности, в рецензии М.О. Цетлина, опубликованной в “Современных записках”: «Бунин нет совсем, потому что его стихи названы “стилистическими упражнениями очень большого прозаика”». Между тем в примечаниях к другой антологии, составленной Морисом Бэрингом (так у Цетлина. – *М.Е.*), тот же кн. Святополк-Мирский называет поэзию Бунина “единственной настоящей парнасской поэзией в России”. «Неужели в качестве таковой она не должна была быть представлена в “кривой” этой антологии?» [16, с. 441]. Цетлин цитирует слова Мирского из Предисловия: “Я хотел ее (антологию. – *М.Е.*) сделать вроде кривой, представляющей хаотическую сложность для неопытного глаза, но могущей быть рассчитанной с точностью по самому короткому отрезку” [15, с. VI].

Разницу между антологией Беринга и “Русской лирикой” Мирского отмечает и Дж. Смит: «Меткие (*crisp*) примечания, которые Мирский поместил в конце своей антологии, создают весьма поучительный контраст с примечаниями, которыми Мирский в том же, что и его антология, году снабдил “Оксфордскую антологию русской поэзии” Мориса Беринга» [7, р. 130].

Четверть с лишним века спустя, в 1952 г., нью-йоркское Издательство им. Чехова выпустило составленную А.А. Боголеповым антологию “Русская лирика от Жуковского до Бунина: Избранные стихотворения”. Трудно не увидеть в названии этой книги полемику с антологией Мирского и попытку “восстановления исторической справедливости”. Учитывая, что Жуковский был сыном помещика Бунина, “буниноцентризм” антологии Боголепова представляется особо выраженным.

В 1925 г. Мирский выпустил свою первую из четырех (считая и книгу “Pushkin”) обобщающих работ по истории русской литературы (и первую по-английски) – уже упоминавшуюся “Новую русскую литературу” (“Modern Russian Literature”). Поскольку эта книга оказалась во многом заслонена двумя последующими “Историями русской литературы” Мирского, имеет смысл привести раздел, посвященный Бунину в главе “The Great Novelists” (“Великие романисты”, параграф “Chekhov and After” – “Чехов и после”): «Не имея повествовательного дара Куприна, Бунин довел до предела ту российскую тенденцию, которую мисс Харрисон называет

“несовершенным стилем”⁴. Большинство его рассказов вовсе не имеют развития.

Бунин принадлежит к традиции Тургенева и Чехова, его творчество в основе своей поэтическое. Но у него нет искренней человечности Чехова. Он – художник слова, единственный ныне живущий писатель, чей русский язык удовлетворил бы Тургенева и Гончарова. Он холоден и сдержан – истинный парнасец, в высшей степени обладающий обеими парнасскими добродетелями, безупречностью и бесстрастностью. По его прозе легко догадаться, что он также и поэт, но его стихи имеют скорее характер упражнений, чтобы поддерживать свой стиль в хорошей форме. Место действия большинства его рассказов – это сельская местность в Центральной России. Наиболее значительное из его сочинений – “Деревня” (1910), которую Горький провозгласил лучшим, что когда-либо было написано о русском крестьянине. Оно очень мрачное и словно задумано как иллюстрация к недавним горьковским обличениям крестьянства⁵. Но в Бунине есть и склонность к экзотике. Он любит юг, и место действия его лучшего рассказа – его единственного истинно великого сочинения – Неаполь и Капри. Это “Господин из Сан-Франциско”, мрачная история о богатом американце, приезжающем на Капри лишь для того, чтобы умереть в тот же день. Это одна из самых ярких вариаций на вечную тему могущества смерти и тщеты человеческой жизни» (*пер. с англ.*) [17, р. 96–97].

В 1926 г. Мирский опубликовал свою знаменитую книгу “Современная русская литература, 1881–1925” (“*Contemporary Russian Literature, 1881–1925*”), где Бунину посвящен отдельный раздел. Мирский особо останавливается на стихах Бунина, давая им развернутую характеристику: «Как поэт Бунин принадлежит к старой, досимволистской школе. Техника его осталась техникой восьмидесятых годов, но она достигает более высокого уровня, и стих его менее “пустой”, чем у Надсона или Минского. Поэзия его в основном объективна, ее главная тема – впечатления от

русской и иноземной природы. Несомненно, как прозаик он гораздо сильнее, чем поэт, но поэзия его подлинная, и он единственный значительный поэт эпохи символизма, к символизму не примыкающий. Стихи его до 1917 г. собраны в трех книгах, из которых вторая включает в себя, вероятно, лучшие его стихотворения (1903–1906), в том числе мощное и запоминающееся стихотворение о дикой Башкирии “Сапсан” и незабываемые картины магометанского Востока» (*пер. с англ.*) [18, с. 604–605]. Обстоятельно и подробно Мирский анализирует и бунинскую прозу. Любопытно отметить, что “Современные записки”, оплот послереволюционной репутации Бунина и самый авторитетный журнал русской эмиграции, на книгу Мирского никак не откликнулись.

Проницательный и пространственный анализ бунинского стиля и языка в “Истории” отнюдь не лишен критических интонаций (в том числе и в том, что касается послереволюционного творчества Бунина), однако в целом его стоит признать взвешенным рассмотрением художественного мира Бунина в рамках первопродходческой попытки дать системную характеристику современной русской литературы – изнутри, но для иноязычной аудитории. Здесь имеет смысл отметить, что, обращаясь к нерусской аудитории (большей частью – англоязычной), Мирский намного более сдержан и умерен в своих оценках и, не поступаясь своими критическими принципами, старается привлечь внимание к богатствам русской литературы (что ранее было замечено и Цетлиным, но никак им не истолковано).

В однотомном американском издании “Истории русской литературы” Мирского 1949 г. Ф.Дж. Уитфилд добавил к главе о Бунине абзац собственного сочинения: «В 1933 г. Бунину была присуждена Нобелевская премия, он продолжал писать и эволюционировать в эмиграции. В дополнение к нескольким собраниям рассказов и стихов, среди которых “Темные аллеи” (1943) получили особенно хвалебный прием, он написал повесть о юношеской любви (“Митина любовь”, 1924–1925) и начал большой автобиографический роман (“Жизнь Арсеньева”)» (*пер. с англ.*) [19, р. 394]. Отметим, что после издания 1949 г. Ф.Дж. Уитфилд осуществил еще одно сокращенное издание (Mirsky D. S. *A History of Russian Literature. From Its beginnings to 1900*. Ed. by Francis J. Whitfield. New York: Vintage, 1958), в которое целиком вошла “A History of Russian Literature from the Earliest Times to the Death of Dostoyevsky (1881)” и несколько первых глав – до главы, посвященной Чехову, включительно – из “*Contemporary Russian Literature, 1881–1925*”. В это сокра-

⁴ Харрисон, Джейн Эллен (Harrison, Jane Ellen, 1850–1928) – английский этнограф, историк культуры и религии, антрополог; Мирский посвятил ей книгу “A History of Russian Literature from the Earliest Times to the Death of Dostoyevsky (1881)” (1927). Об отношениях Харрисон и Мирского см. [7, р. 96–98].

В английском языке “imperfect” – прошедшее несовершенное время. Говоря об “the imperfective style” Дж.Э. Харрисон, скорее всего, имеет в виду отсутствие последовательно развернутого сюжета и законченных сюжетных концовок в повествовании.

⁵ Речь идет о статье: Максим Горький. О русском крестьянстве. Берлин: Издательство И.П. Ладжыникова, 1922.

ценное издание глава, посвященная Бунину, не вошла.

Трудно сказать, был ли Бунин – *de visu* или в чьем-либо пересказе – знаком с “Contemporary Russian Literature, 1881–1925” Мирского, однако последовавшие за выходом книги события резко накалили обстановку в кругах литературной эмиграции. Виновником этому был Мирский, а поводом – во многом – Бунин.

5 апреля 1926 г. в Париже Мирский прочел доклад “Веяние смерти в предреволюционной русской литературе”, на котором присутствовали И.А. Бунин, Г.В. Адамович, М.А. Алданов, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.Ф. Ходасевич, Б.К. Зайцев, А.М. и С.П. Ремизовы, З.А. Шаховская и др. [7, р. 150]. Доклад произвел шокирующее впечатление на слушателей – не только своей темой, но и тем, что Мирский объявил присутствующих на его докладе первых лиц русской зарубежной литературы ответственными за упадок и разложение духа, певцами смерти и разложения. Скандальность доклада усиливалась, в частности, эксцентрической мистификацией Мирского, покоробившей, надо полагать, “литературную аристократию”. З. Шаховская вспоминала: «Говорил [Мирский] отменно умно, в одном месте подчеркнув, “как сказал выдающийся русский писатель Кундышин” <...> [После доклада] кто-то в замешательстве спросил, с редким для него смущением: “Прости, Дима, я что-то не могу вспомнить, кто был Кундышин”. Святополк-Мирский важно: “Совсем не был, я его выдумал”» [20, с. 131].

После этого события начинают разворачиваться стремительно. В начале июля 1926 г. выходит в свет редактируемый Мирским первый номер журнала “Версты”⁶, в котором была помещена обширная рецензия Мирского на журналы “Современные записки” и “Воля России”.

Еще в 1921 г. Мирский писал: «Нужно отметить, что [ни от кого] – от почтенных ветеранов интеллигенции, ничему не научившихся и ничего не забывших, до ветеранов, собравшихся вокруг “Современных записок” в Париже и других заграничных изданий, – откровений ждать не стоит» (*пер. с англ.*) [8, р. 68]. Однако разница в произведенном эффекте между английской стать-

ей 1921 г. и рецензией в “Верстах” 1926 г. была разительной.

Эта статья – главный вклад Мирского-автора в первой книге “Верст”. Вторую статью Мирского, “Поэты и Россия”, Дж. Смит называет “поверхностной” (“*perfunctory*”), тогда как обзор журналов охарактеризован им как “сокрушительный” (“*devastating*”) [7, р. 153]. Отметим, что первоначальные планы Мирского отличны от того, что было напечатано в первой книге “Верст”. Мирский в письме Сувчинскому от 25 февраля 1926 г. писал: “Что мне написать как главную статью? (недлинную, конечно, 8 стр. не больше). У меня есть несколько проектов: <...> Итоги предреволюционного периода – т.е. критическая оценка стариков <...> Рецензии предлагаю дать: а) Современные записки б) Воля России с) Книга Бицилли о Поэзии” [9, р. 48]. Дальнейшие планы уточняются в письме от 11 марта 1926 г.: “Статью о стариках (предреволюционного поколения) и рецензии о Современных записках, Воле России и Бицилли пришлю наискорейшее” [9, р. 52]. В замысле статьи с “критической оценкой стариков” можно увидеть нечто родственное докладу (впоследствии опубликованному) “Веяние смерти в предреволюционной русской литературе”.

Обратимся к тексту статьи в первых “Верстах”. Упомянув “принципиальн[ую] (и природн[ую]) уездност[ь] Бунина”, Мирский писал: “Многим выше этих двух (Мережковского и Зайцева. – М.Е.) Алданов <...>, Ходасевич <...> и особенно две подлинно большие (очень по разному) фигуры Зинаиды Гиппиус и Бунина”. После чего посвятил Бунину почти страницу текста:

«...Бунин [,] “краса и гордость” русской эмиграции, столп Консерватизма, высоко держащий знамя Великого, Могучего, Свободного и т.д. над мерзостью советских сокращений и футуристических искажений – чистая традиция “Сна Обломова”. Бунин [–] редкое явление большого дара[,] не связанного с большой личностью. В этом отношении Бунин сродни Гончарову, которого он, я думаю, в конце концов не ниже. Именно о третьей и четвертой части “Обломова” (единственно подлинно большое, почти гениальное у Гончарова) вспоминаешь в связи с “Суходолом”.

“Суходол” очень большая вещь: никто (кроме[,] конечно[,] Салтыкова в “Господах Головлевых”) не дал такого страшного, убедительного, гнетущего неизбежного эпоса о гниении и умирании уездного дворянства. Смерть, и даже не смерть, а страшное и гнусное предсмертие (*facies hippocratica*) целого класса никогда не вставала в более безнадежном, не величии, а ужасности (*Здесь – примеч.*

⁶ Уже после выхода в свет 1-ой книги “Верст”, Мирский писал Сувчинскому 25 октября 1926 г. о финансировании издания № 2: “Я принимаю меры насчет денег. Готовлю кампанию в Америке. Поручили (от Шуваловой) обойти Рахманинова, но кажется, ничего не выйдет, так как он снюхался с Буниным” [9, р. 54].

Мирского: Не случайно Пильняк (ученик Бунина в гораздо большей мере чем Белого или Ремизова) облюбовал из всего Бунина именно “Суходол”.)

В “Современных записках” (да и нигде) Бунин не дал ничего равного “Суходолу”. “Митина любовь”, самая, по мнению многих, замечательная, вещь напечатанная в “Совр[еменных] зап[исках]”, приятна, спору нет, и в лучших местах похожа, не фотографически, а ученически (и это хорошо), на памятные страницы Толстовского “Дьявола”. Но, конечно, если судить по “Митиной любви” о зарубежном творчестве – росту оно небольшого. И как она бледнеет и меркнет перед подлинной жизнью “Детства Никиты”. В конце концов, ядро “Совр[еменных] зап[исок]” не дало в романе ничего равного напечатанному со стороны, “Преступлению Николая Летаева»» [21, с. 208–209].

Уже 10 июля 1926 г. Бунин записывает в дневнике: “На завтраке у Мережковских. Очень любезны и гостеприимны. З.Н. прочла свою статью против Святополка. Очень хорошо и с тактом написано. Все газеты ее отказались напечатать, появится статья у Мельгунова” [10, с. 158] (публикатор М. Грин дает после упоминания “Святополка” уточнение: “[Мирского]”). Речь идет о статье “Мертвый дух” Гиппиус (под ее обычным псевдонимом “Антон Крайний”) [22]. Об этой статье, а также о статье Гиппиус «О “Верстах” и о прочем» и об анти-“Верстовской” статье Ходасевича Мирский отозвался в письме к Сувчинскому от 25 октября 1926 г.: “Статьи З. Гиппиус и Ходасевича имеют на меня ужасно вредное действие: развивают во мне чувство превосходства, гордыню (Superioritäts-complex)” [9, р. 61].

Печатный ответ самого Бунина последовал быстро – через месяц. В начале августа 1926 г. Бунин публикует в газете “Возрождение” статью о “Верстах”:

«Просмотрел и опять впал в уныние. Да, плохо дело с нашими “новыми путями”. Нелепая, скучная и очень дурного тона книга <...>

Редакторы – Святополк-Мирский, Сувчинский и Эфрон, ближайшее участие – Ремизова, Марины Цветаевой и... Льва Шестова. Что за нелепость, за бесшабашность в этой смеси: Цветаева – и Шестов! И какая дикая каша содержание журнала! <...>

Как ни мало вкуса у его редакторов, все-таки видно, что действуют они не только по своему вкусу. И действуют прежде всего страшно по старинке; эта смесь сменовеховства и евразийства, это превознесение до небес “новой” русской литературы в лице Есениных и Бабелей, рядом с охаиванием всей “старой”, просто уже осточертело <...>

Очень неинтересен и очень надоел и Пастернак, о котором уже сто раз успел сказать Святополк-Мирский: “Вся прошлая русская литература – гроб повапленный, и вся надежда русской литературы теперь в Пастернаке и Цветаевой!” Бабель тоже ценность и новинка не Бог весть какие <...>

“Вольница” Артема Веселого, страниц двадцать какого-то сплошного лая, напечатанного с таким типографским распутством, которое даже Ремизову никогда не снилось: на страницу хочется плюнуть – такими пирамидами, водопадами, уступами, змееподобными лентами напечатаны на ней штуки вроде, например, следующих: “Гра, Бра, Вра, Дра, Зра с кровью, с мясом, с шерстью...” Что это значит, и кого теперь удивит этим? <...>

А уж про Ремизова и Цветаеву и говорить нечего: тут любой дурачок за пятак угадает, что именно дал в сотый, в тысячный раз Ремизов насчет Николая-Чудотворца и Розанова и чем опять блеснула Цветаева <...> А рядом с Цветаевой старается Святополк-Мирский: в десятый раз долбит, повторяет почти слово в слово все то, что пишется о нас в Москве, наделяя нас самыми нелепыми, первыми попавшимися на распушенный язык уничижительными кличками и определениями... <...> Кстати сказать, узнал я из этих “Верст”, что “гениальный” Белый написал новый роман и как именно написал он его» [23, с. 218–221].

В своей статье о журналах Мирский, говоря о достоинствах “Воли России”, замечает: «“Воле России” принадлежит честь первого перевода на русский язык величайшего романиста новой Европы – Марселя Пруста» [21, с. 210] (и добавляет: «“Современные Записки”, издаваемые в Париже, совершенно игнорируют – такие уж Евразийцы – всю современную культуру Запада» [21, с. 210]), но и это, и весь раздел статьи Мирского, посвященный “Воле России”, Бунин словно не замечает.

Как отмечает О.Н. Михайлов, «Бунин “новые” течения отвергал яростно, терял порой самообладание и всякое чувство меры, когда в эмигрантских изданиях читал, скажем, перепечатки произведений советских авторов. Таково, например, его выступление 1926 г. “Версты” <...> Статья “Версты” находится в одном ряду с другими, столь же темпераментными выступлениями на литературные темы – “Записная книжка” (1926, 1929, 1930), “Своими путями” (1926), “Заметки” (1927), “Большие пузыри” (1927), “О Волоши-

не» (1932), “Босоножка” и др. Конечно, не одна “чистая” эстетика водила бунинским пером; но и эстетика тоже» [23, с. 12–13].

Редактор журнала “Воля России” Марк Слоним ответил Бунину статьей «Литературные отклики. Бунин-критик. Антон Крайний и Зинаида Гиппиус. О “Верстах”» (Воля России. 1926. № 8/9. С. 87–103), в которой исключительно резко высказался и о Бунине-критике, и о бунинских полемических приемах, в частности о цитировании программной статьи редакторов в № 1 “Верст” с опущенной частицей “не”, что принципиально меняло смысл цитированного высказывания: «[О]н не оценить хочет, а унизить, не разобрать, а ошельмовать. Злобу вызывают в нем все эти “новые люди” литературы, все эти нетитулованные пришельцы, к которым он, дворянин от искусства, относится с тем же презрением, что и крепостной барин к “хамам” и “кухаркиным детям” <...> Ибо насколько сдержан Бунин-художник, настолько же распушен и не брезглив Бунин – критик и публицист <...> Прежде чем учить других хорошему тону, не мешало бы самому Бунину научиться некоторым правилам литературного приличия. Но цель оправдывает средства. А цель эта – охаять молодую русскую литературу и всех ее представителей и защитников изобразить в виде полудиотов или большевистских лакеев» [23, с. 562–563]. “Нетитулованным пришельцем” Мирского, князя из рода Рюриковичей, потомка боярыни Морозовой и Екатерины II, назвать трудно. Можно, однако, предположить, что Мирский дополнительно вызывал у Бунина, с его разговорами «о “дворянских родинках”, “дворянских ушах” и вообще обо всем “дворянском”» [24, с. 292], сильную неприязнь сочетанием аристократического происхождения и “просоветских” взглядов. Добавим, что одним из редакторов “Верст” был граф П.П. Шелига-Сувчинский, а в числе авторов – кн. Н.С. Трубецкой.

Бунин ответил Слониму статьей “Записная книжка” (Возрождение. 1926. 28 октября. № 513. С. 3–4). «Вот каков оказываюсь я, мертвый, глупый, косный, слепой, глухой, перед Слонимом, перед его жизненностью, перед его пониманием и приятием “нового”, перед его чуткостью, отзывчивостью, умственной широтой, его зорким оком и великолепными ушами. (Да и не один я, а вся эмигрантская “литературная знать и ее придворная челядь”). Но вот неразрешимые вопросы: каким образом ухитрюсь я при всех моих вышеперечисленных качествах все-таки быть “очень хорошим” писателем? Почему я должен принимать и вкушать всю ту мерзость, которая подносится нам “новой” Россией, как тот сосуд, полный

гадов, что спустился во искушение Петру Апостолу, когда он “взалкал и поднялся наверх, чтобы помолиться”? Почему я обязан сходить в гроб ради каких-то Артемов Веселых, Пастернаков, Бабелей, Слонимов, да еще благословлять их? Я еще далеко не в державинском возрасте, да и они далеко не Пушкины! Слоним тогда “уважал бы” меня? Очень верю, но откуда взял Слоним, что я жажду его уважения? – И еще: я в своей статейке о “Верстах”, цитируя их программную статью, проглядел в одном месте частицу “не” и тем искажил одну совершенно незначительную для общей оценки “Верст” фразу, о чем и сожалею. Это дало повод Слониму сказать обо мне: “Подобный прием носит совершенно определенное и далеко не благозвучное имя!” – Но зачем Слоним не договорил, постеснялся? Уж если распоясываться, так до конца» [23, с. 231–232]. Отметим, что бунинское «проглядел частицу “не”» явно противоречит бунинским же словам в статье о “Верстах”: “Вот, значит, каковы намерения журнала, – выписываю его программу почти целиком, выпустив всего пять строк из первого абзаца, ни в каком отношении не важных”. Дискутируемая частица стоит вторым словом на первой строке (цитированной Буниным) редакционного обращения, а в цитате из обращения им выпущены не пять строк, а девять – из двадцати четырех, т.е. почти треть, так что Бунин лукавит.

На страницах первой книги “Верст” Бунин, впрочем, упоминался и еще в одной статье, – принадлежащем перу А. Туринцева “Опыте обзора”: «Замятин <...> писатель “новый”, писатель нашей, живой эпохи, а не из прошлого русской литературы (как Бунин, напр[имер]» [25, с. 217]. Дж. Смит называет статью Туринцева “исключительно интересным обзором” [9, р. 199]. В письме к Сувчинскому от 19 февраля 1927 г. Мирский писал: “... вся наша позиция как раз, что эмигрантская молодежь импотентна, не так ли? Другое дело критика, и я например очень хотел статьи от Туринцева, – уж если кого поощрять из молодежи, то прежде всего его” [9, р. 75]. Именно Туринцева Мирский видел автором специальной, пусть и небольшой работы о Бунине, как это следует из писем Мирского к Сувчинскому: от 28 февраля 1927 г. – “очень прошу Вас поручить Туринцеву написать рецензию (страницы в две) о последней книге Бунина” [9, р. 79] (речь шла о книге рассказов Бунина “Солнечный удар” [9, р. 200]), от 15 июня 1927 г. – “Напомните Туринцеву, чтобы писал статью о Бунине – непременно” [9, р. 86]. Третья книга “Верст” вышла и поступила в продажу в начале января 1928 г., но статьи Туринцева о Бунине в “Верстах” так и не появилось.

“Нападение” на Бунина в первой книге “Верст” упоминается и в знаменитой статье Вл. Ходасевича 1926 г., направленной против “Верст” и Мирского лично: «В <...> антологии (“Русская лирика”. – М.Е.) И.А. Бунин назван “очень большим прозаиком”, а теперь, в “Верстах”, этот чин сильно понижен – потому что надо было понизить одного из виднейших участников “Современных Записок”» [26, с. 437]. Мирский никак прямым образом не откликнулся на обмен резкостями по поводу своей статьи в первом номере “Верст”. Вместо этого во второй книге “Верст”, вышедшей в начале января 1927 г., он поместил “сокращенную переработку” своего скандального доклада “Веяние смерти в предреволюционной русской литературе”, где можно было прочесть, в частности, следующее:

«На зачарованности смертью Андреева, Бунина, Арцыбашева настаивать не приходится, – она слишком очевидна. Смерть для них, как и для бесчисленных других, маленьких единственная реальность; жизнь – суета сует, или “безумие и ужас” <...> У Бунина оно связано с необыкновенно острым историческим чувством гниения и разложения всего старого уклада русской жизни. Все они связаны с Толстым в своем отрицательном и враждебном отношении к культуре. Но то, что у большого человека было над-культурностью, непосредственной близостью к Безусловному, у этих, меньших, просто некультурность, т.е. утрата чувства ценности, унаследованной (пусть скудной) культуры. Интересно, однако, сохранение некоторого пиетета к своей культурной традиции: у Бунина (вообще беспощадного к своему классу) в сентиментальной любви к “антоновским яблокам”, у Андреева в благоговейном подходе к добродетели и подвигу “террористов” (“Тьма”, “Семь повешенных”). Но это “пережитки”. Главная тема Андреева и Бунина, упоение смертью и небытием, зачарованность всем, что о ней напоминает. Зачарованные ужасом смерти, лишённые всякого религиозного положительного отношения к ней, всякой меры (они хуже Горького тем, что и не хотят ее, как бы не подозревая о ее возможности) – они наслаждаются и упиваются приближением и близостью смерти, поклоняясь ей и ее предвестникам, как единственным владыкам. Характерна для них любовь к теме самоубийства, введенной в нашу литературу Чеховым, и рано выродившейся (особенно в драме) в чисто технический прием. Вообще отсутствие глубины и воображения у этих писателей вело их к тому, что их темы легко вырождались в шаблоны и соскальзывали в карикатуру и пародию. Тема самоубийства, дожившая до наших дней, обернулась такой само-пародией

в “Митиной любви” Бунина, где прием, – конечно, бессознательно – “обнажен” и ничем не оправдан, кроме традиционной необходимости так кончить рассказ. Но если, от отсутствия воображения и культуры, эти писатели и способны бывали так занашивать и обесмысливать свои темы, в лучшие свои минуты они давали вещи подлинно значительные. “В тумане” Андреева и “Суходол” Бунина останутся как прочные и страшные памятники страшного, предсмертного времени» [27, с. 250–251].

Постоянство мотивов смерти у Бунина отмечалось и убежденными поклонниками творчества Бунина. Так, например, Г.П. Струве в “Русской литературе в изгнании” (1956) отмечал, что «[н]и у одного русского писателя, кроме, пожалуй, Толстого, не было такого влечения к теме смерти в сочетании с такой жадностью к жизни и таким неустанным дивованием Божьим миром. Любовь к жизни, сознание чудесности Божьего творения и чувство смерти теснейшим образом переплетаются у Бунина, и на эту тему написаны им некоторые из лучших его страниц <...> Едва ли не лучшие страницы в “Жизни Арсеньева” и вообще у позднего Бунина – о смерти» [2, с. 67–68, 171]. М.А. Алданов писал в письме к Бунину от 22 августа 1947 г.: «Самое изумительное, по-моему: “Хорошая жизнь” и “Игнат”. Но какой Вы (по крайней мере тогда были) мрачный писатель! Я ничего безотраднее этой “Хорошей Жизни” не помню в русской литературе» [11, с. 138–139]. Радикальность Мирского и заключалась в том, что он отказал Бунину в способности “дивования Божьим миром”.

В том же номере “Верст”, Мирский в рецензии на “Дело Артамоновых” скажет, что эта книга «принадлежит к одной из магистральных традиций русской литературы, – к великому ряду обличений русской духовной скудости – “Обломов”, “Господа Головлевы”, “Деревня” Бунина» [28, с. 257]. Для Бунина это стало, судя по всему, лишь дополнительным оскорблением⁷.

Мирский не остановился на достигнутом эффекте и год спустя, опубликовал в англоязычном сборнике “Contemporary Movements in European Literature” (“Современные течения в европейской литературе”) статью “Современные течения в русской литературе”, где изложил в сжатом виде

⁷ Ср., напр., с высказыванием Бунина этого времени (Записная книжка // Возрождение. 1926. 28 октября. № 513. С. 3–4): “Боже мой, это Горький-то знает [Россию], Горький, с его литературщиной, с его малярным размахом, это суздальское кривое зеркало!” [23, с. 223].

основные положения “Веяний смерти”, а о Буни- не написал следующее:

«Бунин считается многими первейшим из живущих русских писателей. Это, без сомнения, гротескное преувеличение. Бунин ничего не добавил к национальному литературному капиталу из того, что в скрытой, а временами и в явной форме не содержалось бы у Тургенева, Гончарова, Салтыкова, Толстого или Чехова, и рядом с меньшими из этих своих предков он едва ли больше, чем пигмей. Однако его лучшие книги, “Деревня” (1911) и “Суходол” (1912), два ужасающих и безжалостных обличения нищеты, пустоты и безобразности деревенской России, принадлежат к великой традиции, и, по крайней мере, “Суходол” – это совершенный шедевр. После революции Бунин не написал ничего равного. Ныне он – главная литературная сила в стане консерваторов; довольно парадоксальная ситуация для живописателя безобразнейших картин России, сметенной революцией. В этих двух книгах всепоглощающее чувство смерти и пустоты, столь характерное для группы писателей (Андреев, Арцыбашев), получает социальное и историческое обоснование. Смерть в них не столько нечто вечное, сколько исторический феномен – фактическое умирание социального порядка. “Деревня” и “Суходол” – это симптомы и обличения распада, предшествующего смерти целой сферы дореволюционной России» (*пер. с англ.*) [8, р. 261].

Трудно определить, знал ли Бунин об этой публикации, но, учитывая многолетнее выдвижение Бунина на Нобелевскую премию по литературе, можно предположить, что, если бы Бунину об этой статье стало известно, он бы воспринял её не иначе, чем диверсию, направленную на подрыв его международной репутации.

В феврале 1928 г. в кн. 34 “Современных Записок” Бунин начнет печатать свою главную прозу эмигрантского периода – роман “Жизнь Арсеньева”. Меньше чем через год после этого, в начале 1929 г., Мирский, уже сильно эволюционировавший влево, в своих “Заметках об эмигрантской литературе” на страницах газеты “Евразия” (1929. 5 января. С. 6–7), по-прежнему настаивал, что «[к]ак бы высоко ни оценивать написанное ими [старшими писателями, сложившимися в России] за рубежом, их место в русской литературе определяется их прежним творчеством. “Митину любовь” нельзя серьезно равнять с “Суходолом”» [14, с. 148–149]. В том же году Мирский, кажется, в последний раз в европейской главе своей биографии, высказался в печати о Бунине – и о “Жизни Арсеньева” – в написанной по-немецки статье:

«...между бунинским расцветом и его сегодняшним днем расстояние слишком уж велико <...> Вместо мощного “симфонизма” той повести здесь царит рыхлая бесформенность, усугубленная к тому же обильными метафизическими размышлениями. И всё же это тот роман, [который] благодаря своей правдивости и подлинности, а также отказу от злосчастного романтического сюжета (“Митина любовь”), является его [Бунина] <...> значительнейшим произведением послереволюционного времени» [29, S. 333].

Как видим, на фоне предшествующих оценок послереволюционного творчества Бунина Мирский в немецкой статье 1929 г. всё же признает художественные достижения “эмигрантского” Бунина.

Но в стане Бунина никакая статья из пражско-немецкого журнала ничего в отношении Мирского переменить уже не могла. Так, М.А. Алданов в письме В.Н. Буниной от 17 января 1930 г. писал: «Теперь в смысле англ[ийских] и америк[анских] переводов будет верно еще труднее из-за той сводки, которую поместил Святополк-Мирский в “Брит[анской] Энциклопедии” <...> этот господин всем нам сделал много зла: в Англии он считается первым авторитетом по русской литературе!» [30, с. 344]⁸.

Можно соотнести этот резко негативный отзыв Алданова с весьма благожелательной и взвешенной оценкой алдановского творчества в № 1 “Верст” и в “Критических Заметках” Мирского, опубликованных в № 2, о чем Мирский писал в письме к Сувчинскому от 25 октября 1926 г.: “Мои критические заметки <...> Есть маленькие любезности Дням и Алданову, м.б. лишние? Но вообще рассуждения об Алданове не из лицеприятия, и не для уловления” [9, р. 62].

Мотив “вредоносности Мирского” получит развитие в дневниковой записи Бунина от 2 ноября 1931 г.: «<...> Письма: 1) от Глеба Струве, пишет насчет Вирджинии Вулф. Как будто есть надежда, что отнесется со вниманием, если, конечно, русские книги в ее издательстве не читает Святополк Окаянный” [10, с. 255]. “Святополк Окаянный” в издательстве “Хогарт Пресс” (“Hogarth Press”) в 1920-е гг. русские книги не только читал, но и издавал (напр., *The Life of the Archpriest Avvakum*

⁸ Мирский опубликовал две статьи о русской литературе в энциклопедии “Британника”: 1) *Russian Literature // Encyclopaedia Britannica: The Three New Supplementary Volumes constituting with the Volumes of the Latest standard Edition the Thirteenth Edition (London and New York, 1926), III, 435–439*; 2) *Russian Literature // Encyclopaedia Britannica, 14th edn. (London and New York, 1929), XIX, 751–758.*

by Himself. Translated from the Seventeenth Century Russian by Jane Harrison and Hope Mirrlees, with a Preface by Prince D.S. Mirsky. London, 1924). В 1931 г., однако, Мирскому было не до этого: в это время он уже принял решение об отъезде в СССР и занимался, большей частью, агитационной работой в качестве члена Британской коммунистической партии.

Однако и в этот критический и переломный момент в биографии, в переписке Мирского снова появляется имя Бунина. Как пишет О.А. Казнина, когда “возникла необходимость уделить Бунину внимание в английском университетском курсе лекций о литературе, за советом обратились к Д. Мирскому. Отвечая на просьбу Б. Пэрса “определить место” Бунина в современной русской литературе, критик писал ему 10 января 1931 г. из Парижа:

«Бунин, без сомнения, занимает место сразу вслед за Горьким, он самый видный представитель “старой школы” в своем поколении». Лучшими произведениями Бунина Мирский назвал “Деревню” и “Суходол”, которые, как он писал, позволяют считать его в русской литературе “классиком второй величины” (“minor classic”). По мнению критика, произведения Бунина, созданные до войны, повлияли на новую советскую литературу. А о поздних произведениях он заметил, что они были “перехвалены эмигрантской печатью” [13, с. 342].

Оценка Мирского может показаться не лишеной парадоксальности, но нужно помнить, что в этот период Горький в глазах Мирского – главное связующее звено с Советским Союзом, куда он планирует уехать, а слова о влиянии Бунина на советскую литературу – в устах “советизированного” Мирского звучат как похвала.

1 сентября 1931 г. Мирский опубликовал в “Nouvelle revue française” свою статью “История одного освобождения”, а в конце сентября 1932 г. уехал в СССР. Преемником Мирского на посту в Школе славянских и восточноевропейских исследований (School of Slavonic and East European Studies) при Лондонском университете в конце мая 1932 г. был назначен Г.П. Струве. Свою первую публичную лекцию 16 ноября 1932 г. Струве посвятил Бунину, а лекцию 23 ноября – Набокову. Набоков писал в письме к Струве 2 декабря 1932 г.: “Очень, очень мне приятно, что вы – именно вы – читали обо мне. Я уже слышал о том, как блестяще прошла ваша первая – бунинская – лекция. Желая вам, мой дорогой, огромных успехов. Не сомневаюсь, что вы много достигнете в Англии. А мерзкий Мирский, кажется, приезжает в Париж

(где, говорят, будет с Бабелем и еще с кем-то издавать журнал)” [31, с. 150]. Казалось бы, набоковская эпиграмма лета 1932 г. – “Из Глеба выйдет больше толка, // чем из дурного Святополка!” [31, с. 148]⁹ – попала в точку.

Однако, как показала Т.В. Марченко, уже после присуждения Бунину Нобелевской премии в 1933 г. к скептическому мнению Мирского апеллировали в шведских газетах. По ее словам, «автор гётеборгской газеты не спешит влиться в общий хвалебный хор шведской периодики и ссылается на мнение русской критики: “На какое место ставят Бунина в истории русской литературы, трудно судить со стороны. Но можно в этом случае процитировать авторитетное суждение русского литературоведа, князя Д.С. Мирского, который после революции работает в Англии”.

А это суждение явно идет вразрез с общим мнением о соответствии русского писателя престижной международной награде, ибо, ссылаясь на Д.П. Мирского шведский журналист, было бы “гротескным преувеличением считать Бунина одним из первых русских писателей; сейчас его имя имеет политическое значение в эмиграции, что парадоксально, ведь он описал в черных красках ту Россию, которую революция уничтожила. Даже если это суждение о Бунине не вполне справедливо, все же ясно, что новый лауреат Нобелевской премии не принадлежит к новаторам в русской литературе” <...> очевиднее всего, что шведский журналист при подготовке материала о Бунине обратился к одному из двух почти одновременно вышедших из печати трудов русского литературоведа на английском языке: “Modern Russian Literature” (London, 1925) и “Contemporary Russian Literature: 1881–1925” (London, 1927)» [32]. Любопытно отметить, что автор статьи в шведской газете рассматривает Мирского как эмигранта, хотя с момента его отъезда в СССР прошло уже больше года.

Заочная жесткая полемика Мирского и Бунина (похожая, правда, больше на вынесение с каждой стороны окончательных приговоров, не подлежащих обжалованию, с зачислением в “расстрельные списки”) середины 1920-х гг. обрывается отъездом Мирского в СССР. Ни Бунин, ни Мирский не увидят последующей творческой и человеческой эволюции друг друга. Для Мирского Бунин совсем вскоре станет частью мира, из которого он сбежал в Советский Союз; для Бунина, нужно

⁹ О контексте эпиграммы Набокова см.: *Efimov M. Nabokov and Prince D.S. Mirsky // The Goalkeeper. The Nabokov Almanac. Ed. Yuri Leving. Boston: Academic Studies Press, 2010. P. 218–229.*

думать, Мирский так и остался лишь неким про-советским, а потом и советским “литературным хулиганом”.

Есть основания думать, однако, что принципиальной является не идеологическая окраска высказываний Мирского о Бунине (пункт, особо подчеркиваемый Буниным) – с учетом идейной эволюции Мирского, а та самая попытка Мирского выстроить канон русской литературы, о которой мы упоминали вначале. В 1926 г. для Мирского “Бунин сродни Гончарову, которого он <...> в конце концов не ниже” [21, с. 208–209], а в оценке 1931 г. “занимает место сразу вслед за Горьким” и является «самы[м] видны[м] представител[ем] “старой школы” в своем поколении» [13, с. 342].

Еще в 1922 г. Мирский утверждал, что “[н]е только старая толстовская традиция вымерла, но и чеховская погибла бесславно” [14, с. 61]. В свою очередь, критика русского зарубежья долгие годы рефлексировала над судьбой дореволюционной литературы и пыталась связать дореволюционный период с литературой эмиграции. Бунин как раз и являлся одним из наиболее заметных звеньев в этой связке. Тургенев, Толстой, Чехов были теми фигурами, на фоне которых творчество Бунина оценивалось ведущими литературными критиками эмиграции (например, Г.В. Адамовичем, П.М. Бицилли, Ф.А. Степуном)¹⁰. Н.Н. Берберова выразила эту обобщенную оценку не без двусмысленности: “И если бы он не опоздал родиться на тридцать лет, он был бы одним из наших великих нашего великого прошлого. Я вижу его между Тургеневым и Чеховым, рожденным в году 1840-м” [24, с. 295]. И только Д.П. Святополк-Мирский поставил Бунина-прозаика (и отказав ему в праве считаться поэтом) в один ряд с Горьким, причислив его прозу “к великому ряду обличений русской духовной скудости” [28, с. 257]. “Обличение скудости” в соседстве с Гончаровыми Щедриным – тоже почетное литературное родство, но – не в глазах Бунина и тех, кто искал живой связи эмиграции с русской классикой.

Мирского, страстно увлеченного в 1920-х годах Пастернаком, Цветаевой, Ремизовым и Элиотом, можно было бы заподозрить в “стилистической глухоте” применительно к творчеству Бунина, однако “История русской литературы” – с ее широчайшим диапазоном и заинтересованным вниманием к явлениям принципиально разных

стилистических регистров – делает это предположение малоубедительным.

Как писатель, Бунин для Мирского был и оставался автором “гнетуще-неизбежного эпоса о гниении и умирании уездного дворянства” [21, с. 209]. При этом “принципиальн[ая] (и природн[ая]) уездност[ь] Бунина”, вкупе с подчеркиванием автором “Деревни” и “Суходола”, собственного дворянства должны были казаться Мирскому, природному Рюриковичу и столичному гвардейскому офицеру, по меньшей мере нелепыми стилистическими анахронизмами. Напомним слова Мирского из уже цитированной статьи 1928 г.: “Ныне он – главная литературная сила в стане консерваторов; довольно парадоксальная ситуация для живописателя безобразнейших картин России, сметенной революцией” (*пер. с англ.*) [8, р. 261].

Парадоксальное (на поверхностный взгляд, по крайней мере) сочетание в Мирском филолога и офицера, выросшего в среде высокопоставленных военных и чиновников, облеченных властью и ответственностью за судьбы страны, определило и его двойственность критика и историка литературы: изысканный эстетизм в литературных оценках (отсюда, например, восхищение Бабелем и неприятие Пильняка) сочетался с “активизмом” как жизненной установкой. Неслучайно он выделял Гумилева, поэта и воина, как исключение среди русских писателей. В письме 1926 г. Мирский заметил, что верит “только в гвардейских офицеров” [9, р. 55].

Мирский был одним из тех, кто отстаивал необходимость оценивать изящную словесность по ее внутренним законам, а не по навязанным извне идеологическим меркам. Вместе с тем он видел в литературе один из важнейших индикаторов состояния нации, и потому принципиальное значение имеет тот факт, что обращение к коммунизму оказалось для него связано в первую очередь с чтением советской художественной литературы. Мирский *хотел* увидеть в литературе Советской России признаки обновления и оздоровления нации после катастрофы революции и гражданской войны, и – уже в Советском Союзе – ему пришлось в полной мере оценить степень этого самообольщения и заплатить за него жизнью.

В 1920-е гг. Бунин для Мирского – это прочитанная страница истории России и истории русской литературы. Мирский мог признавать ее высочайший художественный уровень, но для того будущего, которого он искал, Бунин – в отличие от Пастернака и Цветаевой, в которых он видел

¹⁰ См. репрезентативную подборку соответствующих цитат в книге Г. Струве [2, с. 170–171], а также мнение самого Струве: “Придет, думается, время, когда, оцененный беспристрастно в исторической перспективе, Бунин займет место не наравне с Чеховым, а выше его” [2, с. 170].

“оптимистов” – не давал ничего¹¹. Мирский видел в Бунине “только литературу”, хоть и временами первоклассную. В 1926 г. он напишет: “Инерция вчерашнего дня всегда велика, и иногда лучший цвет литературного движения расцветает после смерти движения” [21, с. 207]. Бунин, в глазах Мирского, и был таким “цветком после смерти”.

Оказавшись в Советском Союзе в 1932 г., Мирский лишь постепенно осознал всю иллюзорность своей ставки на экспериментальную литературу в СССР: его затравили Безыменские и Вишневские, а имя привычным образом было вычеркнуто из списков живых и мертвых почти на тридцать лет. Бунина в Советской России печатали еще в 1920-х гг. (включая эмигрантскую “Митину любовь”) [2, с. 170, прим. 31], а после его смерти основной корпус его художественной прозы зарубежного периода стал доступен советским читателям и писателям, некоторые из которых достойны быть названы “бунинским потомством”.

Представитель обедневшего дворянства и беспощадный наблюдатель дореволюционного “страшного, предсмертного времени” [27, с. 251], Бунин в эмиграции культивировал “дворянские родинки” и яростно обличал большевиков, русских символистов и эмигрантскую молодежь. Несмотря на разнообразные нападки со стороны молодых эмигрантских писателей, Бунин в 1920–1950-е гг. рассматривался как самый крупный прозаик русского зарубежья. Нобелевская премия, казалось бы, окончательно утвердила за ним положение прижизненного классика, однако и публицистика Бунина, и его знаменитые “Воспоминания” свидетельствуют о том, что он, болезненно озабоченный своим местом в истории русской литературы, чувствовал свою уязвимость в качестве “классика”; к концу жизни Бунин – в сохранившихся, по крайней мере, высказываниях – был едва ли не близок к нигилизму¹². В исторической перспективе ясно, что Бунин, ставший признанным классиком в “российском” каноне русской литературы, не имеет аналогичного статуса в литературе европейской (что не говорит, конечно, об отсутствии исследовательского интереса к его творчеству на Западе).

В свою очередь, Мирский, аристократ по рождению и воспитанию, блестяще образованный,

офицер, прошедший мировую и гражданскую войны, сделавший исключительно успешную академическую карьеру в Лондоне и входящий в лучшие интеллектуальные круги Европы, проделал радикальную эволюцию во взглядах, стал правоверным коммунистом и уехал в Советский Союз, где ему было суждено умереть страшной смертью в колымском концлагере. Вместе с тем, ни скандальная репутация в среде русской эмиграции, ни писания Мирского в советский период никак не повлияли на его посмертную международную (но не российскую) репутацию: “История русской литературы” Мирского по-прежнему не имеет достойных конкурентов и заменителей в англоязычном мире.

* * *

Автор признателен А.Б. Блюмбауму, О.А. Казниной, О.А. Коростелеву, Т.В. Марченко, Н.Г. Мельникову, Дж. Смитту, любезно прочитавших текст статьи на разных этапах ее написания, за ряд сделанных ими ценных замечаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Хазан В.* “Петитная ерунда” (Из наблюдений над русской эмигрантской литературой: гипотезы и аргументы) // Вопросы литературы. 2005. № 5. С. 329–339.
2. *Струве Г.П.* Русская литература в изгнании. Изд. 3, испр. и доп. Краткий биографический словарь русского зарубежья / Р.И. Вильданова, В.Б. Кудрявцев, К.Ю. Лаппо-Данилевский. Вступ. ст. К.Ю. Лаппо-Данилевского. Париж: YMCA-Press; М.: Русский путь, 1996.
3. Письма Марины Цветаевой к Р.Н. Ломоносовой (1928–1931 гг.). Публикация Ричарда Дэвиса. Подг. текста Лидии Шоррокс // Минувшее: Исторический альманах. 8. М.: Открытое общество: Феникс, 1992.
4. *Иванов Г.В.* В защиту Ходасевича // Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 3: Мемуары. Литературная критика. М.: Согласие, 1993.
5. *Казнина О.* Рец.: Д. Мирский. Несобранные статьи по русской литературе // Вопросы литературы. 1990. Январь. С. 218–233.
6. “...В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда...” Письма Ю.К. Терапиано к В.Ф. Маркову (1953–1966). Публикация О.А. Коростелева и Ж. Шерона // Минувшее. Исторический альманах. 24. М.; СПб.: Atheneum: Феникс, 1998.
7. *Smith G.S.* D.S. Mirsky: A Russian-English Life, 1890–1939. Oxford, N.Y.: Oxford University Press, 2000.

¹¹ Напомним при этом слова Мирского в письме к Сувчинскому от 29 января 1924 г.: “Но кроме шуток, космический пессимизм мне очень близок, почему я так и презираю Гете, и так люблю Пушкина и К. Леонтьева” [9, р. 26–27].

¹² Ср. дневниковую запись А. Шмемана от 4 ноября 1974 г.: «В новой книге “Нового журнала” (№ 116) последние записи Бунина: какое страшное, полное отчаяние, страх смерти, одиночество. И злоба! И самолюбие!» [33, с. 121].

8. *Mirsky D.S.* Uncollected writings on Russian Literature / Ed. by G.S. Smith. Oakland: Berkeley Slavic Specialties, 1989. (Modern Russian Literature and Culture, Studies and Texts. Vol. 13).
9. *Smith G.S.* The Letters of D.S. Mirsky to P.P. Suvchinskii, 1922–1931. Birmingham, 1995. (Birmingham Slavonic Monographs. № 26).
10. Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы, под редакцией Милицы Грин. В трех томах. Том II. Frankfurt am Main: Possev-Verlag, 1981.
11. Письма М.А. Алданова к И.А. и В.Н. Буниным. Публикация и комментарии М. Грин // Новый Журнал. Кн. 81 (1965). С. 110–147.
12. “Вы – друг старый и верный...” Письма И.А. Бунина к А.В. Тырковой-Вильямс. Публ. Р. Янгирова // Минувшее. Исторический альманах. 15. М.; СПб.: Atheneum: Феникс, 1993. С. 165–192.
13. Письма А.В. Тырковой-Вильямс И.А. Бунину. Вступ. статья, публикация и примечания Казниной О.А. // С двух берегов. Русская литература XX века в России и за рубежом. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 327–369.
14. *Святополк-Мирский Д.П.* Поэты и Россия: статьи, рецензии, портреты, некрологи / Сост., подг. текстов, прим. и вступ. ст. В.Н. Перхина. СПб.: Алетейя, 2002. (Русское зарубежье).
15. Русская лирика. Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака. Составил кн. Д. Святополк-Мирский. Вступ. ст. проф. Г.П. Струве. New York: Russica Publishers, Inc. 1979. С. XI, курсив Мирского. (Репринт первого издания: Русская лирика. Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака. Составил кн. Д. Святополк-Мирский. Париж, 1924.)
16. *Цетлин Мих.* [Рец.] Русская лирика. Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака. Составил кн. Д. Святополк-Мирский // Современные Записки. Кн. XXIV (1925).
17. *Mirsky D.S., Prince.* Modern Russian Literature. London: Oxford University Press, Humphrey Milford, 1925.
18. *Мирский Д.С.* История русской литературы с древнейших времен до 1925 года / Пер. с англ. Р. Зерновой. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992.
19. *Mirsky D.S.* A History of Russian Literature, Comprising a History of Russian Literature and Contemporary Russian Literature. Edited by Francis J. Whitfield. New York: Knopf, 1949.
20. *Шаховская З.А.* В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991.
21. *Святополк-Мирский Д.*, кн. [Рец.] “Современные Записки” (I–XXVI, Париж 1920–1925 гг.). “Воля России” (1922, 1925, 1926 гг. № I–II. Прага) // Версты. № 1 (1926). С. 206–210.
22. *Антон Крайний [Гиппиус З.Н.]*. Мертвый дух // Голос минувшего на чужой стороне. 1926. № 4. С. 257–266.
23. *Бунин И.А.* Публицистика 1918–1953 годов / Под общ. ред. О.Н. Михайлова; Вступ. ст. О.Н. Михайлова; Комментар. С.Н. Морозова, Д.Д. Николаева, Е.М. Трубиловой. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000.
24. *Берберова Н.Н.* Курсив мой: Автобиография / Вступ. ст. Е.В. Витковского; Комментар. В.П. Кочетова, Г.И. Мосешвили. М.: Согласие, 1996.
25. *Туринцев А.* Опыт обзора. Версты. № 1 (1926).
26. *Ходасевич В.* О “Верстах” // Современные записки. Кн. XXIX (1926).
27. *Святополк-Мирский Д.*, кн. Веяние смерти в предреволюционной литературе // Версты. № 2 (1927). С. 247–254.
28. *Святополк-Мирский Д.*, кн. Критические Заметки // Версты. № 2 (1927). С. 255–262.
29. *Sv'atopolk-Mirsky D.* Die Literature der russische Emigration // Slavische Rundschau: Berichtende und kritische Zeitschrift fur das geistige Leben der Slavischen Volker. Prag, 1929. № 4. S. 291. – Цит. по: *Марченко Т.* Русские писатели и Нобелевская премия (1901–1955). Köln – Weimar – Wien: Böhlaus Verlag, 2007. S. 333.
30. *Рогачевский А.* И.А. Бунин и “Хогарт Пресс” // И.А. Бунин: Новые материалы. Вып. 1 / Сост., ред. О. Коростелева и Р. Дэвиса. М.: Русский путь, 2004.
31. Письма В.В. Набокова к Г.П. Струве. Часть вторая (1931–1935). Публикация Е.Б. Белодубровского и А.А. Долинина. Комментарии А.А. Долинина // Звезда. 2004. № 4. С. 139–163.
32. *Марченко Т.* Русские писатели и Нобелевская премия (1901–1955). Köln – Weimar – Wien: Böhlaus Verlag, 2007. S. 444–445, со ссылкой на газетную публикацию: Göteborgshandles – och sjöfarts tidning. 10.11.1933. S. 11.
33. *Шмеман А., прот.* Дневники. 1973–1983 / Сост., подгот. текста У.С. Шмеман, Н.А. Струве, Е.Ю. Дорман; предисл. С.А. Шмеман; примеч. Е.Ю. Дорман. М.: Русский путь, 2005.